

Мария Баскина (Маликова)  
«Поверх барьеров»:

О ДМИТРИИ ПЕТРОВИЧЕ СВЯТОПОЛК-МИРСКОМ

**Ефимов М.В. D.S.M. / Д.П. Святополк-Мирский:  
Годы эмиграции, 1920—1932.**

СПб.: Изд-во Пушкинского Дома; Нестор-История, 2019. — 456 с. —  
(Современная русистика, т. 8).

**Ефимов М.В., Смит Дж. Святополк-Мирский.**

М.: Молодая гвардия, 2021. — 702 с. — (Жизнь замечательных людей).

Вышедший в 2014 г. сборник статей и рецензий Д.П. Святополк-Мирского 1922—1937 гг. о литературе и искусстве (далее — Статьи), подготовленный ныне покойным О.А. Коростелевым и М.В. Ефимовым, со вступительной статьей британского слависта Джеральда Смита, пионера публикации и исследования текстов Мирского и его биографии<sup>1</sup>, — первое на русском языке фундаментальное, надежное, квалифицированно прокомментированное издание литературно-критического наследия Мирского, соединившее в хронологическом порядке его русские и английские (в переводе М.В. Ефимова) статьи эмигрантского и советского периодов, — предъявило отечественному читателю Мирского — литературного критика в его своеобразном, стремительном и трагическом движении<sup>2</sup>. В 2019 и 2021 гг. свет увидели две книги М.В. Ефимова, историка и филолога, сегодня безусловно ведущего отечественного исследователя Мирского, — научная монография (далее — Ефимов) и том в серии «ЖЗЛ» (в соавторстве с Дж. Смитом; далее — ЖЗЛ). В настоящем обзоре на основе этих книг мы постараемся показать, каким Мирский как историк и критик литературы видится нам сегодня.

Мирский считал, что критик должен действовать как объективный «силомер», измеряющий «силу» писателя, даже если она действует в чуждом ему направлении<sup>3</sup>, должен «постараться *изнутри* понять и оценить» «качество мысли», пусть

- 1 *Святополк-Мирский Д.П.* О литературе и искусстве: Статьи и рецензии 1922—1937 / Сост., подгот. текстов, коммент., материалы к библиографии О.А. Коростелева и М.В. Ефимова; вступ. статья Дж. Смита. М.: Новое литературное обозрение, 2014. 616 с. (Филологическое наследие).
- 2 Есть, конечно, гораздо более ранние отечественные работы: прежде всего, Л.Н. Чертова (статья о Мирском в «Краткой литературной энциклопедии» 1967 г. (т. 4), составленный при его участии сборник работ Мирского советского периода «Литературно-критические статьи» (М.: Советский писатель, 1978)) и В.В. Перхина (подготовленные им многочисленные публикации статей Мирского собраны в томе «Поэты и Россия: статьи, рецензии, портреты, некрологи» (СПб.: Алетейя, 2002), ценном по составу, однако с неудовлетворительным научным аппаратом (см. рец. Н.А. Богомолова: Toronto Slavic Quarterly. 2002. № 2. <http://sites.utoronto.ca/tsq/o2/bogomolov2.shtml#mirsky>)). По охвату и качеству сборник под редакцией Ефимова и Коростелева может быть сопоставлен только с подготовленным Дж. Смитом изданием: *Mirsky D.S. Uncollected Writings on Russian Literature / Ed. by G.S. Smith. Oakland: Berkeley Slavic Specialties, 1989.*
- 3 *Мирский Д.* О нынешнем состоянии русской литературы // Благонамеренный. 1926. № 1 (перепечатано в: *Mirsky D.S. Op. cit. P. 222—229.*)

ошибочной, и ее новизну (Статьи, с. 99, курсив Мирского; ЖЗЛ, с. 384). Читая самого Мирского, поражаешься и недоумеваешь, как слепец, ощупывающий слона, — разнообразию и подвижности огромных и странных частей, — «силе». В случае с Мирским, который пребывал в вечном бегстве от остро им ощущавшихся вокруг и в себе смерти, разложения и гниения к тому, что представлялось ему на каждом следующем этапе его жизни новым, действенным, — можно говорить о «мощности» (силе, умноженной на скорость). А также о том, что в отечественной истории литературы и литературной критики этого слона по-прежнему не заметили.

Между сборником статей Мирского 2014 г. и томом о нем в ЖЗЛ 2021 г. — зияние, которое должно было быть заполнено на полках книжных магазинов русскими переводами книг самого Мирского, по крайней мере «Pushkin» (1926) и «Lenin» (1931) (пока есть только «История русской литературы с древнейших времен по 1925 год» в переводе с английского Р.А. Зерновой (Лондон, 1992; Магадан, 2001; 5-е изд., испр. и доп. Новосибирск, 2014)), переводом фундаментальной научной биографии Мирского, написанной Дж. Смитом<sup>4</sup>, наконец, собранием сочинений Мирского, одним из этапов в подготовке которого был заявлен сборник 2014 г. (Статьи, с. 373), несколькими монографиями о Мирском, а не одной книгой Ефимова 2019 г., а также большой международной конференцией к восьмидесятилетию его гибели (в 2019 г.) или к 130-летию со дня рождения (в 2020 г.). Однако ни исследователи русской эмиграции, ни специалисты по советскому прошлому, ни историки взаимосвязей русской и зарубежных литератур — вообще, кажется, никто, кроме Д. Быкова<sup>5</sup> — не «ухватились» за Мирского.

Это тем более удивительно, что самая, может быть, раздражающая черта Мирского — противопоставление своего дворянско-аристократического этоса остро ненавидимому им интеллигентскому — сейчас достаточно контекстуализирована в истории отечественной культуры благодаря выходу в последние годы фундаментальных изданий трех авторов, которые служили Мирскому ближайшими ориентирами. Это поэт граф В.А. Комаровский, с которым Мирский был дружен в ранней молодости и в статье памяти которого написал важное для собственного самоопределения: «Отпрыск старой, московско-петербургской дворянской фамилии с обширным родством и сильной семейной традицией, он был совершенно не задет интеллигентской культурой. Культурную почву его составляли семейные предания, старое, более французское, чем русское, воспитание, старая дедовская библиотека <...>, наконец, и едва ли не больше всего, свод анекдотов, дипломатических, светских, придворных, с прочным генеалогическим основанием, все услышанное с живых слов — непосредственная традиция, доходящая до самого осьмнадцатого века» (цит. по: Ефимов, с. 300)<sup>6</sup>; «реакционный» философ и критик К.Н. Леонтьев — не только посмертное возрастание его славы, но и современный интерес к нему Мирский в 1924 г. считал «общим местом» (цит. по: Ефимов, с. 207);<sup>7</sup> адвокат-литератор С.А. Андреевский — Мирскому принадлежит заслуга выделения особого направления в русской литературе, связанного с судебным адвокатским красноречием

4 *Smith G.S. D.S. Mirsky: A Russian-English Life, 1890—1939. Oxford: Oxford University Press, 2000.*

5 См. его диалог с М.В. Ефимовым 2018 г. «Возвращение возвращенца»: <https://snob.ru/entry/159876/>.

6 См. издания произведений В.А. Комаровского, подготовленные И.В. Булатовским и А.Б. Устиновым: Стихотворения. Проза. Письма. Материалы к биографии. СПб.: Изд-во Ивана Лимбаха, 2000; Первая пристань. СПб.: Гиперион, 2002.

7 См. Полное собр. соч. и писем К.Н. Леонтьева в 12 т., подготовленное в Пушкинском Доме В.А. Котельниковым, О.Л. Фетисенко и др. (СПб.: Владимир Даль, 2000—2020).

в эпоху Александра III (особенно Мирский выделял «Книгу о смерти» (1922) Андреевского, «одно из прекраснейших достижений русской прозы»<sup>8</sup>).

Отчасти объяснение досадному невниманию современного отечественного читателя к Мирскому можно найти у него самого: «[Т]радиция, как нить Ариадны, — раз уронили, уже не поднять. Опирается можно только на непосредственно предшествующую традицию, еще не оборванную» (Статьи, с. 147). Так была оборвана в русской культуре за десятилетия, как пишет Мирский, «интеллигентской дикости» (Там же, с. 66), традиция любимейшего им Пушкина — «наше почти единственное связующее звено с искусством, здравомыслием, Европой и человеческой цивилизацией» (Там же): «[к]роме некоторого общего завета силы и страсти, мы ничему у Пушкина научиться не можем. Это вина не наша, а истории, — простого истечения времени, заполненного другим» (Там же, с. 148). Это самое «истечение времени, заполненного другим» затрудняет и сейчас задачу понимания Мирского во всей его сложной и подвижной целостности. Одинокая необходимая работа отечественного автора в этом направлении — две книги и несколько статей и публикаций Михаила Витальевича Ефимова.

Научная монография 2019 г.<sup>9</sup> выдержана в духе большого и принципиального самоограничения: Ефимов не говорит о биографии Мирского и исследует только его филологический метод (и только филологический, без евразийской и вообще политической и исторической публицистики<sup>10</sup>) и только эмигрантского периода (1920—1932). Преодолевая соблазн подражания «заразительным» работам самого Мирского, соединяющим биографию и историю литературы (в рецензиях на труды Литтона Стрейчи и книгу Г.П. Блока о Фете, в статьях о Н. Гумилеве и В. Комаровском и прежде всего в работах о Пушкине), Ефимов проделывает необходимую хирургическую операцию, освобождая читательское восприятие Мирского от все заслоняющих фактов его биографии и связанных с ними трафаретов (князь-«Рюрикович» / «красный князь», евразиец, член Коммунистической партии Великобритании, «возвращенец», советский критик-марксист, скоро ставший «лагерной пылью»), и позволяет сфокусировать внимание на литературоведческом наследии Мирского и анализе его метода. Отказавшись обсуждать две волнующие дилетантов, только начинающих интересоваться Мирским, темы: во-первых, как Мирский, ничего сколько-нибудь значительного до 1920 г. не написавший и в университете учившийся урывками, больше времени посвятив лейб-гвардейской службе и войне, вдруг, уже тридцатилетним, выступил сразу таким блестящим, зрелым и уверенным в себе критиком; и, во-вторых, как такой умный критик с блестящей европейской карьерой не только стал коммунистом, но и соблазнился вернуться в Советскую Россию, — М.В. Ефимов описал свой основной предмет — метод Мирского как филолога — с высокой степенью полноты. Подробно изложены сами тексты, их контекст, реценция, основные связанные с ними проблемы метода, приведен релевантный эпистолярный и прочий материал, который Ефимов сегодня знает, вероятно, лучше, чем кто-либо другой. Анализ проведен путем дистинкций и демаркаций, отраженных в названиях многочисленных глав и подглавок, что де-

8 *Мирский Д.С.* История русской литературы с древнейших времен по 1925 год / Пер. с англ. Р. Зернова. London: Overseas Publications Interchange Ltd, 1992. С. 538—539. См. также: Статьи, с. 68—70. «Книга о смерти» С.А. Андреевского переиздана И.И. Подольской в серии «Литературные памятники» (М.: Наука, 2005).

9 См. о ней рецензию И. Булкиной в этом номере «Нового литературного обозрения».

10 О них см.: Д.П. Святополк-Мирский: историк и публицист / Публ. М.В. Ефимова и О.А. Коростелева; Пер. с англ. и вступ. статья М.В. Ефимова; примеч. О.А. Коростелева // Ежегодник Дома русского зарубежья имени Александра Солженицына. 2014—2015. М., 2015. С. 331—381.

лает книгу исключительно внятной и удобной для чтения. Мирский окончательно перестает быть «духовным озорником» и предстает литературным критиком и историком литературы, обладавшим широкой европейской образованностью и снайперской способностью понимать всякий *nouveau frisson* как в эмигрантской (М. Цветаева), так в советской (Б. Пастернак; Мирский восхищался не только его стихами, но и прозой) и европейской (Т.С. Элиот) литературе.

Поразительно различие репутаций Мирского в отечественном и в европейском литературном мире. В современных ему институализированных русских средах — эмигрантской литературе, пушкинистике, советском литературоведении — Мирского в основном ненавидели, совершенно не стесняясь в выражениях (когда речь заходит о Мирском, язык И. Бунина невозможно отличить от языка советского критика-погромщика Д. Заславского). И одновременно Мирский — редкий образец европейского успеха в нескольких областях, где русские традиционно провинциальны: он писал, прежде всего на английском, об английской и о русской литературе, классической и новейшей, в лучших английских журналах своего времени и оказался своим (не особенно это ценя и относясь к западной «интеллидженция» с ее культом Чехова весьма иронически) в кругу эксцентричных британских интеллектуалов-русифилов, таких как Морис Беринг, Бернард Пэрс и Джейн Эллен Харрисон, в среде сливок европейского интеллектуального мира — салоне Вирджинии и Леонарда Вулф в Блумсбери, на декадах в Понтины (куда из русских, кроме Мирского, приглашались только Н.А. Бердяев и Л.И. Шестов), в кругах английского журнала Т.С. Элиота «*Criterion*» и французского «*Commerce*». Его написанная по-английски история русской литературы — до сих пор безусловно классическая и востребованная в англофонном университетском мире, даже в послевоенные годы оценивавшаяся как безусловно лучшая такими пуристами, как Владимир Набоков и Исайя Берлин (см.: Ефимов, с. 182—183).

В первой главе монографии метод Мирского ставится в актуальный и позволяющий лучше уяснить его контекст, на который сам Мирский заинтересованно откликался, — опоязовской филологии и британской литературной критики. Если британская часть уже рассматривалась в книге Дж. Смита, то исследование темы «Мирский и формалисты» безусловно новаторское: в начале 1920-х гг. Мирский с наслаждением дышит «чистым воздухом формализма» (цит. по: Ефимов, с. 45) и пишет о трудах опоязовцев в целом ряде обзоров и рецензий, где одновременно дает точные характеристики рецензируемых работ и кристаллизует собственный язык, на что никто, кроме него, в эмиграции оказался неспособен. Многие формулировки Мирского Ефимов прочитывает как отклики на чтение прежде всего Тынянова и Якобсона и отчасти Шкловского, с которым у Мирского скорее «биографический параллелизм». Добавим, что слова Мирского о Тынянове-романисте: «[У него] нет той “внутренней фауны”, которая одна делает “поэтов”, а только понимание, которое делает историков» (Статьи, с. 205), — помогают понять, почему сам Мирский не пытался выйти из скромной роли исследователя литературы. При этом уже в 1925 г., глядя на формалистов исторически, Мирский замечает, что теперь им «[в]место легких побед над старыми интеллигентскими общественниками и импрессионистами <...> приходится защищаться от гораздо более страшного врага — официального марксизма — и в условиях, которые заранее ставят формалистского Давида в безнадежно-невыгодное положение по отношению к марксистскому Голиафу» (цит. по: Ефимов, с. 41), в 1929 г. фиксирует, что историческое время формалистов, поскольку они добровольно выбрали для себя позицию «спецов», прошло (Там же, с. 69—70) (Шкловский же, «[п]рименяющийся к советской современности, <...> устарел и выглядит человеком, прилетевшим на уэллсовской машине времени из 1921 года в 1929 год» (Статьи, с. 216)), в 1932 г., приехав в Рос-

сию, чтобы стать, как он писал Горькому, «работником ленинизма», Мирский говорит В.М. Жирмунскому: «Вы думаете, что я вернулся лишь для того, чтобы беседовать с вами и с Тыняновым?» (Ефимов, с. 76) — теперь этот диалог исторически бесплоден для обеих сторон (хотя, конечно, вполне возможен и происходил в плане бытового общения).

Предмет второй главы монографии — историко-литературные сочинения Мирского сравнительно большой формы (Ефимов называет их «нарративами»), поразительным образом подготовленные Мирским за один-два года, — антология «Русская лирика» от Ломоносова до Пастернака (1924), написанная на английском книга «Пушкин» (1926) и, прежде всего, два тома также написанной на английском истории русской литературы — «Современная русская литература: 1881—1925» (1926) и «История русской литературы с древнейших времен до смерти Достоевского (1881)» (1927). Ефимов делает аналитический очерк их содержания с обширными цитатами, давая таким образом читателю, которому эти тексты до сих пор не так легко доступны, весьма полное о них представление.

Третья глава посвящена литературно-критической деятельности Мирского 1920—1928 гг., то есть «малым формам» — статьям и рецензиям, как написанным по-английски для британских изданий, так и русским эмигрантским (выходившим в «Звене», «Современных записках», «Благонамеренном», «Воле России»), часть которых мы знаем по сборнику 2014 г. Отдельно рассматривается журнал «Версты», который представлял собой попытку соединить современную эмигрантскую, советскую и европейскую культуру, где Мирский выступал одним из главных идеологов и организаторов. Своеобразие позиции Мирского как критика и историка литературы Ефимов видит, во-первых, в том, что, рецензируя новинки, Мирский смотрел на них взглядом историка, а о классической литературе писал с пристрастной критической актуализацией. Заметим, что произведенная Мирским ревизия русского литературного канона, сформированного критикой XIX в., и уже в начале 1920-х гг. давно назревшая, отечественным читателем до сих пор не усвоена в отношении не только «столпов», но и фигур третьего ряда, как «писатель-пролетарий» И.А. Куцевский, которого Мирский аттестует «одним из самых восхитительных и наименее признанных русских писателей». Вторая особенность литературно-критической позиции Мирского — его культурный билингвизм, «органическая бинокулярность», особенно наглядно проявившаяся в «двойчатках» — текстах, написанных в одно время и на одну тему, но на разных языках, так что один и тот же предмет раскрывается в европейском и в русском культурном освещении. Добавим, что сборник 2014 г. и, прежде всего, книга в ЖЗЛ позволяют говорить о диалектике «тройчатках» Мирского: его автопереводах того, что он раньше писал о Пушкине, Гумилеве, Элюте, Прусте, Джойсе, формалистах и проч., на «советский язык» — переводы эти иногда кажутся издевательски искажающими исходный смысл до противного, но на самом деле представляют собой более сложное явление перевода между дискурсами — с эстетического на марксистский политический.

Книга о Мирском в серии «ЖЗЛ» соотносится с научной монографией Ефимова по принципу дополнительности (она охватывает не только эмигрантский период его жизни, но всю ее целиком) и написана стилистически гораздо более свободно и с явной личной интонацией. В начале авторы задаются непростой задачей проследить истоки Мирского, ранняя биография которого известна пунктиром, впрочем, весьма замечательным: британскому литератору и русофилу Морису Берингу достаточно было раз увидеть юного Мирского в имении его отца Гиёвка (школьник «всего лишь семнадцати лет, однако уже знакомый с литературой на семи языках, более того — пишущий стихи по-английски и по-русски», цит. по: ЖЗЛ, с. 57), чтобы в 1920 г. устроить ему переезд в Великобританию, журнальную

и преподавательскую работу; в том же 1907 г. Мирский вместе с другими гимназистами обращается за музыкой для задуманной ими постановки блоковского «Балаганчика» к Михаилу Кузмину (Блоку юный Мирский тоже пишет, и весьма уверенно) — и на несколько месяцев становится действующим лицом его «Дневника», увлекшим поэта «il principino». Вот в 1911 г. Мирский, проучившись год, оставляет восточное (китайско-японское) отделение Санкт-Петербургского университета и поступает стрелком в лейб-гвардию. Сейчас нам трудно понять, зачем студенту университета, отпрыску министра внутренних дел, пусть и в отставке, и фрейлины императрицы, добровольно идти в армию — Ефимов объясняет это современному среднему интеллигентному читателю: лейб-гвардейцем едва ли можно стать, им можно только быть по семейной традиции принадлежности к военно-придворной среде с наследственной дворянской памятью об обязанности защищать отечество, быть воином, как твои предки 200 и 400 лет назад (ЖЗЛ, с. 111—112). В 1913 г. Мирский выходит в запас и сразу держит экстерном экзамены уже по другому, классическому отделению университета, причем настолько успешно, что получает от профессора М.И. Ростовцева предложение остаться при университете, но «вследствие мобилизации не мог им воспользоваться» (автобиография Мирского 1936 г., цит. по: ЖЗЛ, с. 121)<sup>11</sup> — и дальше несколько лет воюет в двух войнах, мировой и гражданской, пока, бежав из польского концлагеря, не оказывается в 1920 г. в эмиграции. Перечисленные несколько точек биографии Мирского известны, по ним можно прочертить линию, которая пройдет заметно выше траекторий большинства его сверстников, но историческая ткань тут получается жидкая. Ефимов находит решение в генеалогии: он начинает с подробнейшего описания рода Святополк-Мирского (выясняется, что, вопреки распространенному мнению, он не был Рюриковичем, то есть потомком Святополка Окаянного, убийцы своих родных братьев, Бориса и Глеба, а принадлежал к роду служилых польских дворян, получивших княжеский титул только в начале XIX в. — впрочем, по матери, Бобринской, Мирский несомненно был прямым потомком Екатерины II), и постепенно из прихотливых разветвлений дворянских родословных и многообразной интегрированности предков в русскую историю возникает искомая нередуцируемая плотность и индивидуализированность состава исторической ткани, имеющей поразительно близкое отношение к «красному князю»: вот первый князь в роде Святополк-Мирских после поражения польского восстания эмигрирует во Францию, где деятельно пытается создать во французском Алжире многонациональную эмигрантскую колонию, переходит из католичества в православие, возвращается на родину и благополучно живет на своих родовых землях еще четверть века. Вот его сын, дед нашего героя, в детстве живший, вероятно, в Африке, потом поступивший в русскую военную службу на Кавказе и, отставным генералом, с трогательной искренностью переписывавшийся со Львом Толстым, говорит о себе: «Обстоятельства моего детства и юности были таковы, что меня можно уподобить растению, несколько раз пересаженному в различные почвы и климаты. С каждой пересадкой отрезывались корни, растение оставалось живым и выросло видным, но не дает цвета и плодов...» (цит. по: ЖЗЛ, с. 15). Также и по линии Бобринских факты генеалогии соединяют широкий историко-культурный интерес с «мелодраматическими и скандальными эффектами» (Там же, с. 27). Когда, по-стерновски,

11 Этот нехарактерный для историка литературы этос война, вероятно, соотносится с устойчивой в критических характеристиках Мирского темой «мужества» и «героизма»: в Мандельштаме он ценит «мужество ответственности», в Гумилеве — «возрождение героического», пишет о «характерной мускулистой силе» Грибоедова, «мужественной силе» Пушкина.

на 48-й странице сообщается о рождении героя, он уже оброс родовой культурно-исторической плотью. Далее аналогичным образом его обстают те своеобразнейшие фигуры с парадоксальными и трагическими биографиями, вроде Е.Д. Поливанова, с которыми Мирский мог быть знаком на восточном факультете университета, и те, с кем, вероятно, был знаком в Пушкинском семинарии С.А. Венгерова (Н.С. Гумилев, М.Л. Лозинский, В.М. Жирмунский и др.), и те, с кем точно был близок, как граф В.А. Комаровский. Так становится понятнее своеобразное формирование этоса Мирского — то, что принято называть в разговоре о дворянских отпрысках старого режима «блестящим домашним образованием», но в самом широком смысле, что позволило ему сразу выступить так уверенно и быть воспринятым представителями британской интеллектуальной элиты как человек одного с ними культурного и социального круга.

В ЖЗЛ, где Мирский представлен в полном хронологическом развитии, чем дальше, тем больше становится заметна огромная, катастрофическая скорость его движения: быстро достигая в каждой из областей верхней точки, он стремительно изживает как внутренне «отработанные» и британскую интеллектуальную среду, и эмиграцию — прежде всего увлечение поэзией Цветаевой и евразийство. В разговоре о последних Ефимов не скрывает, что Цветаева «как человек» его ужасно раздражает, а от политического евразийства тошнит: «Лучше дать цитаты — и лучше бы покороче. *Такого* Мирского и с Мирским еще не было <...>» (Там же, с. 454, курсив в тексте). Это, конечно, вполне понятно: мутит от писем Цветаевой, от Сувчинского и Сергея Эфрона, от инфильтрованного агентами «Треста» евразийства и от приехавших в гости к Мирскому уже в Советскую Россию старых знакомых, которые все, включая Веру Сувчинскую, теперь советские (или двойные? тройные? сами точно не знают?) шпионы. Не всякий может не то что написать, а без отвращения прочитать даже самое исторически строгое фактографическое исследование этих предметов, как, например, книга Л.С. Флейшмана «В тисках провокации. Операция “Трест” и русская зарубежная печать» (М.: Новое литературное обозрение, 2003). Однако представленный в ЖЗЛ материал все же весьма ценен для историка, занимающегося истоками евразийства и эмигрантского «большевиизма». Нам же то, что сообщают авторы о работе Мирского над книгой «Lenin» (1931), помогло хотя бы отчасти понять, как европейский культурный стиль статей эмигрантского периода сменился кошмарным языком его советской литературной критики: Мирский целый год увлеченно читал Ленина и учился у него, как у писателя, тому, чтобы не быть «литератором», изжить все следы «изящности словесности» — писать «утилитарно» (ЖЗЛ, с. 484) и политически прагматично.

Рубеж, переход Мирского к последнему, советскому этапу его жизни — отношения с любимой им Верой Сувчинской (урожд. Гучковой), посещение Горького в Сорренто, — в ЖЗЛ описаны посредством монтажа цитат из переписки героев между собой, а также с третьими лицами (прием хроникального и цитатного монтажа — «Мирский в жизни» — часто используется в рецензируемой книге и хорошо подходит для формата ЖЗЛ), перемежаемых необходимыми историко-культурными и психологическими пояснениями и короткими, иногда психологически автопроекторными апарте (чаще всего цитатными и соединяющими отчаяние и иронию, что вообще свойственно языку Ефимова), — в целом это производит такое трагическое впечатление, какого художественный вымысел современному читателю дать, вероятно, не может.

Получение Мирским советского гражданства и его переезд «навсегда» в Советскую Россию (то, о чем в монографии Ефимова не говорилось) кажется очевидным описывать в том же ключе, в каком сам Мирский описывал судьбу Грибоедова:

«...принимая с сомнамбулической медлительностью наиболее опасные решения, неотвратимо накликая беду» (Статьи, с. 202) и Пушкина: «замаскированное самоубийство» (Там же, с. 203) — ср. запись в дневнике Вирджинии Вульф: Мирский «сейчас возвращается в Россию — “навсегда”. Наблюдая, как загораются и снова гаснут его глаза, я вдруг подумала: скоро быть пуле в этой голове. Вот что делает война, словно говорит этот загнанный в угол, попавший в западню человек» (цит. по: ЖЗЛ, с. 536). Приводимые в книге материалы говорят также о том, что Мирский пришел в эмиграции (и в русской, и в британской академической среде) к полному «политическому одиночеству» (из письма Мирского Горькому 1931 г., цит. по: ЖЗЛ, с. 528), что сделало невозможным столь необходимую ему властную, живую литературную деятельность, что он действительно проникся коммунистической идеей как тем единственно и безусловно новым, к чему всегда стремился («нет ни человека, ни культуры вне Коммунистической революции», цит. по: ЖЗЛ, с. 529) — и что при этом он пытался вести себя рационально: сохранить за собой преподавательское место в Британии, обеспечить до переезда издание в Советской России сборника своих литературно-критических статей, в том числе в переводе с английского, найти для себя в Москве не литературную, а единственно казавшуюся ему актуальной и действенной «политическую» работу (вероятно, имелось в виду написание «марксистской» истории литературы под эгидой Горького) (Там же, с. 531—532) и проч. Только все эти планы катастрофически провалились и Мирскому отвели в Москве место не «работника ленинизма», а пишущего «по разнообразным литературным вопросам» (Там же, с. 547) вообще подозрительного бывшего князя и деникинца и, возможно, английского шпиона, его единственная встреча со Сталиным оказалась ничтожной, сюжета «поэт и царь» не получилось (Там же, с. 548—549)<sup>12</sup>.

Советские годы Мирского — самые мучительные для описания, прежде всего потому, что в своих литературно-критических и эпистолярных текстах этого периода Мирский говорит интериоризированным им советским языком. То, что может показаться в нем «вульгарно-социологическим» штампом, политической корыстью, конъюнктурой, страхом (последние делают ненадежными советские воспоминания о Мирском, среди них есть и прямо клеветнические, как И. Гронского или Н. Любимова), в случае Мирского — не оппортунистическая «революционная фраза» «старых» критиков, как А.В. Луначарский или П.С. Коган, не циничное выворачивание собственных мыслей эмигрантского периода и, конечно, не культурная девственность «выдвиженцев»-коммунистов, а полноценный дискурс — только такой, где эстетическое заменено этическим, причем последнее понимается утилитарно-политически, «по-ленински». Именно в этой перспективе нужно читать, например, дикое утверждение Мирского, что в любимом им классицистическом XVIII в. «основной задачей марксистского изучения <...> должно стать исчерпывающее изучение социально близкой нам литературы крестьянской и плебейской, с установкой на построение цельной и полной идеологической истории эксплуатируемых классов крепостной России, предков рабочих и крестьян, ныне строящих бесклассовое общество» (цит. по: ЖЗЛ, с. 585). Научиться понимать этот советский язык Мирского — трудная, но выполнимая задача. Тут может помочь отмеченный Ефимовым интерес Мирского к концепции русской истории М.Н. Покровского, в которой то, что сегодня мы назвали бы редукционизмом в объяснении культуры пресловутыми «производственными отношениями» (для Мирского это, наверное, было, как он говорил в близком контексте, «освобождаю-

12 Ср. сюжеты, описанные в: *Морев Г.* Поэт и Царь: из истории русской культурной мифологии: Манделштам, Пастернак, Бродский. М.: Новое издательство, 2020.



щим обеднением») соединяется с салтыковским градусом сарказма в описании русской политики и всякого «идиотизма» здешней «деревенской жизни», да еще и дополняется блестящим литературным стилем автора-историка (Там же, с. 586—587). Идеологическая концепция Покровского: «История — это политика, опрокинутая в прошлое», — была, замечают авторы книги, именно той историей (и историей литературы) как политикой, которой хотел заниматься в Москве Мирский (Там же, с. 588).

«Возвращенчество» Мирского — трагический сюжет, который невозможно излагать без патетики и ужаса: поездка в составе писательской делегации на Беломорканал, где Мирский, как замечает Ефимов, чувствовал себя, вероятно, даже не «как лиса в меховом магазине» (так описал свое ощущение В.Б. Шкловский, приезжавший туда хлопотать за брата), а как лиса на живодерне (Там же, с. 573); разительные автопроекции в советских статьях, как, например, о Пушкине (той самой, где пресловутые «сервилизм» и «лакейство»): «История сыграла с Пушкиным трагедию возмездия <...>. Гибель Пушкина была трагически неизбежным следствием его приспособленческого “примирения” с царизмом. “Без лести” подчинившись Николаю, Пушкин вступил на путь, от добровольной капитуляции неизбежно приведший его к невольным унижениям без числа и, наконец, к смерти как единственному выходу» (цит. по: ЖЗЛ, с. 592); ужасные автообъяснения и покаяния последних месяцев перед неминуемым уже арестом. Критикуя в эмиграции бесплодный консерватизм «Современных записок», Мирский насмешливо заметил, что им удалось осуществить известную апорию Зенона: «Современные записки» — это стрела, которая «летит, оставаясь неподвижной» (Статьи, с. 141). К текстам самого Мирского применим парадокс из набоковского рассказа «Красавица» (1934): «Какая стрела летит вечно? — Стрела, попавшая в цель», — если понимать его как мысль о вечной актуальности точной конструктивной мысли. Перед арестом Мирский, как замечает Ефимов, сам превратился в «движущуюся мишень», весь «предгробовой канцелярит» (ЖЗЛ, с. 621) написанного им в эти последние месяцы можно читать только как «бюллетень движущейся мишени» (Там же, с. 602—603). Дальнейшее известно и ужасным образом «скучно» для того, кто знаком с отечественной историей: в 1937 г. его обвинили как английского шпиона, под пытками Мирский также признал, что «был завербован авербаховцами для контрреволюционной троцкистской работы в советской литературе» (цит. по: ЖЗЛ, с. 629), и через два с половиной года умер в лагере — по воспоминаниям Ю.Г. Оксмана, «он бесконечно скорбел по поводу своего перехода в новую веру и приезда в Россию, проклинал коммунизм, издевался над своими иллюзиями. Много говорил о своих планах истории русской поэзии и верил, что останется жить. Умер он мучительно — от пелагры особой формы <...>» (цит. по: ЖЗЛ, с. 631) и, по странному совпадению, 6 июня — в день рождения Пушкина (Там же, с. 640), о котором, если верить воспоминаниям соллагерника, Мирский целую ночь говорил в бреду перед смертью (Там же, с. 633). В самом конце Ефимов задается вопросом, который и нам не давал покоя: чем был Мирский, со всем его масштабом и судьбой, — неужели только «историком литературы» или даже «литературным критиком»? Ответ: «Он был героем трагедии» (Там же, с. 641), — кажется, вновь цитирует слова самого Мирского, сказанные в связи с Пушкиным: «Подлинно классическая черта — приближение к греческому пониманию Рока» (Статьи, с. 64—65).